**«Поэзия Блока. Раннее творчество (Ante lucem)»**

И.Машбиц-Веров

Летом и осенью 1901 года Блок отмечает в «Дневниках»: «Мистика начинается... Начинается покорность богу», и рядом: «Начало богоборчества». Так христиански-неземным устремлениям поэта противостоит «земное». Однако борьба этих начал происходила и ранее. В стихотворении «Пора вернуться к прежней битве» (1900) поэт, с одной стороны, провозглашает: «Воскресни дух, а плоть усни!», а с другой —

Но сохраним в душе глубоко

Все эти радостные дни:

И ласки девы черноокой.

И рампы светлые огни.

(А.Блок. Соч. т. VII, М-Л., 1960-1963, стр. 363. В дальнейшем цитирование по этому изданию будет даваться в тексте: том - римскими цифрами, страницы - арабскими. "Записные книжки" будут обозначаться: З.К.)

Критики, утверждавшие, что Блок — последовательный теург, по сути дела, обходили самый ранний период его творчества. Для них от поэта «исходил трепет касания иных миров» (Пяст), он явился как готовое «чудо, прямой наследник Вл. Соловьева» (П. Перцов), в нем осуществлялся «рост человеческого духа в направлении магизма» (Белый).

Современный исследователь В. Орлов пишет, что помимо «мистической веры в потусторонние миры» у Блока есть и такие черты, как «крайний индивидуализм» и «безучастие к окружающей действительности».

Вместе с тем, хотя мистицизм поэта, по мнению В. Орлова, «начисто выключает такую категорию, как народ», «в юношеской лирике Блока уже возникает центральный образ всей его поэзии — образ родины». Каков же облик Блока периода «Аntе lucem»?

Решая этот вопрос, необходимо, прежде всего, отметить, что в те годы поэт субъективно еще не был мистиком, хотя был религиозен. Правомерно ли, однако, различение мистики и религии? Блок отвечает на это так: «Религия и мистика не имеют общего между собой, хотя мистика может стать одним из путей к религии. Мистика — богема души, религия — стояние на страже» (3. К., 72). Утверждение, что «общего между мистикой и религией нет, это очевидное преувеличение. Но и отождествлять их все же нельзя. Э. Радлов, специалист по религиозным вопросам, пишет: «Человек верующий может, конечно, не быть мистиком. Он принимает религию, слепо верит и не дозволяет рассудку касаться своей веры. Но если он постарается озарить светом разума свою веру, то ему, если он, конечно, не впадет в религиозный скепсис, остается один исход — оправдание религии путем разума: это и есть мистицизм. Сущность мистика — постижение бесконечного в глубинах чувствующего сердца».

Ранний Блок и был, в известной мере, «слепо верующим», вернее — верующим по традициям воспитавшей его среды. Но одновременно он и тогда уже впадал в «религиозный скепсис», в «богоборчество», противопоставляя христианско-аскетическому отрицанию «плоти» и уходу в «небо» земные радости, «язычество».

Так возникает первое, характерное для раннего Блока, противоречие. И наряду со стихами, проникнутыми религиозностью, другие его стихи, по существу, противостоят религии. Уже в 1898 году, в стихотворении «Моей матери», он пишет о «бледной, бездушной, пустой небесной равнине», призывая:

Полно смотреть в это звездное море,

Полно стремиться к холодной луне!

Мало ли счастья в житейском просторе?

Мало ли жару в сердечном огне?

(I, 7)

Противопоставление пустоте небес сердечного огня не случайно. «Здоровый мальчик, каким я был», — так характеризует себя Блок в 1897 году (VII, 338); в написанном в те годы «изрядном количестве стихов» звучали, по его мнению, «мечты о страстях», «легкая влюбленность», (VII, 339); стиль же наведения Блока был таков, что и другим и «самому себе я представлялся неотразимым и много видевшим видов Дон-Жуном» (VII, 341). Это подтверждает и Л. Д. Блок, которая «...в то время считала его пустым фатом».... Наконец, все лично знавшие поэта говорят о нем, как о человеке физически крепком, любившем спорт, физический труд. Все это вместе взятое означает, очевидно, такую приверженность к земному, которая естественно вызывала протест против веры в аскетически христианского бога, как в «разумное» и «благое» начало. Вот некоторые примеры.

В стихотворении «Погоня за счастьем» (1899) бог олицетворяет «незримый гнет, сеет злое семя» и, оставаясь для людей «дальней горой», ведет их к гибели:

Идут века, — но поколенья

Стремятся к горному хребту

И ловят с криком опьяненья

Его одежды на лету.

Вершины редко достигают

И гибнут, гибнут — каждый миг...

(I, 438)

В другом стихотворении («Жизнь, как загадка, темна») Блок утверждает, что людям не «дано найти бога в сфере пустой и безвестной».

Жизнь, как загадка, темна.

Жизнь, как могила, безмолвна.

Пусть же пробудят от сна

Страсти порывистой волны...

Будем же страстью играть.

В ней утешенье от муки.

Полно, глупцы, простирать

К небу безмолвному руки.

(1898, I, 375, 376)

Вместе с тем земные страсти («на мое восприятие влияет и болезнь, и мимолетные страсти с покаяниями после них». VII, 343) тоже не приносили Блоку удовлетворения. И молодой поэт ищет спасения (особенно в «мистическое лето» 1901 года) в любви «божественной». В стихотворении «Через песчаные пустыни» такое состояние обрисовано, можно сказать, с биографической точностью:

Одно дитя — отроковица

Мне повстречалась на пути.

И вечно-женственным прикован,

Смущен, — и брошена лепта,

И ослеплен, и очарован,

И власть прияла красота.

Но за блаженными брегами

Еще белеет некий храм.

Туда приду, горя мольбами,

И там явлюсь — в ряду с богами

И сопричисленный к богам.

(1901, I, 472)

Так любовь Блока к Л. Д. Менделеевой, воплощавшаяся несколько ранее в духе земной «влюбленности», все более осмысливается как мистическая любовь к Софии, Душе мира.

О характере поэтического воплощения Блоком «божественной» любви речь будет в следующей главе. Но уместно отметить здесь, что Блок пытался осуществить неземную любовь и в жизни. Что из этого получилось, рассказывает в своих мемуарах Л. Д. Менделеева: «Думаете, началось счастье? Началась сумбурная путаница». Блок хотел превратить «живого человека, его расцвет, молодость, природу — в какую-то отвлеченность, хотя и идеальнейшую...» Это была «ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни... безвыходность, обитая линия жизни». «Такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим».

Да и сам Блок, естественно, не мог жить подобной отвлеченностью. Даже в самый расцвет своих мистических настроений он внутренне восставал против них.

Сказанным объясняется та сложная жизненная и творческая раздвоенность, которая с самого начала характеризует Блока: раздвоенность между верой и неверием, «небом» и «землей», «Афродитой небесной и Афродитой площадной».

И ясно, почему идеалистическая критика игнорировала земные страсти и богоборчество Блока. Изначальное «касание иных миров» невозможно было совместить с настроениями молодого язычника, который хотя и «стучался в господний дом с жаждой искупленья», стремясь стать из «язычника — христианином», но... не находил здесь «ответа» и опять возвращался к покинутой земле:

Господь не внял моей молитве.

Но чую — силы страстных дней

Дохнули раненному в битве,

Вновь разлились в душе моей.

Мне непонятно счастье рая,

Грядущий мрак, могильный мир...

Назад! Язычница младая

Зовет на дружественный пир!

(1900, I, 65)

Нет, Блок не «начал с мистической веры в миры иные»! Ранняя его религиозность с самого начала была подточена неверием.

Утверждение, что ранний Блок — «индивидуалист», — утверждение давнее. Еще в 1931 году В. Гольцев писал о «не откликающемся на крики людей молодом поэте-индивидуалисте», ссылаясь, между прочим, на то же стихотворение, что и В. Орлов, — «Душа молчит»:

Душа молчит. В холодном небе

Все те же звезды ей горят.

Кругом о злате иль о хлебе

Народы шумные кричат...

Она молчит, — и внемлет крикам,

И зрит далекие миры.

Но в одиночестве двуликом

Готовит чудные дары.

Дары своим богам готовит

И, умащенная, в тиши,

Неустающим слухом ловит

Далекий зов другой души...

(1901, I, 78)

Однако действительно ли это стихотворение утверждает «индивидуализм» и «безучастность к действительности»? В «Дневниках» Блок так характеризует свою «психологию» того времени: «Психология — хотя против людей, но с народом, как со стихией» (VII, 346). «Народ» и «люди», следовательно, выступают здесь как бы в двух ипостасях. И поэт против «людей», — рабов житейской суеты, но он с внутренней «стихией» народа. «Я молюсь (опять богу: Боже без лица, как всегда),— поясняет поэт, — извлечь меня, истомленного раба, из жалкой битвы [очевидно, житейской], чтобы не уставать от феноменального и легче созерцать ноуменальное» (VII, 347). В черновике стихотворения говорится, что поэт — «незадрожавший трепет ловит меж косных глыб».

Какой же «трепет» обнаруживает поэт в косном мире, какие «чудные дары» готовит, ловя «неустающим ухом далекий зов другой души»?

Пояснение дает «Набросок статьи о русской поэзии», написанный в то же время. Это дары, указанные «гигантом Соловьевым», который утверждал неизбежность победы «дела любви, дела любовного единения людей» над злом и тьмой косного мира.

Образуется, таким образом, «двуликое одиночество»: чуждый шумным «людям» и «народам» в их «феноменальном» бытии, поэт единен с «народом» в «упорном искании» его божественного «воскресения», его «ноуменальной» cути. «Душа умащена — отмечает он в «Дневнике». — Над ней уже ответно загораются небеса» (VII, 346).

Вот почему стихотворение завершается образом «белых птиц», чьи «неразлученные сердца звучат призывом, понятным им лишь до конца», то есть призывом, еще непонятным людям, погрязшим в «феноменальном».

В стихотворении на ту же тему «Они звучат, они ликуют» поэт опять утверждает, что хотя он чужд «ликующим» людям, но его «гармонический язык» — голос человека отнюдь не «безучастного» к жизни:

Пусть всем чужда моя свобода,

Пусть всем я чужд в саду моем —

Звенит и буйствует природа,

Я — соучастник ей во всем.

(1901, I, 92)

Таким образом, не «безучастность» к народу и не «индивидуализм», а одиночество поэта, оторванного от жизни, ищущего выхода в иллюзии, в «далеких мирах», в «созерцании ноуменального, чтобы не уставать от феноменального» (VII, 347), — вот что утверждается Блоком в рассмотренных стихотворениях. И вот почему в отличие от индивидуалистов, бравирующих своим «гордым одиночеством», как признаком высокой «избранности», Блок, наоборот, представляет свое одиночество «бездной гибели равнодушного серого нелюдима». Не случайно раннему произведению («Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет», 1900), где говорится о той же отчужденности от «шумных народов», как и в стихотворении «Душа молчит», предпослан эпиграф из Лермонтова о несчастном поколении: «К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы».

Есть и другие стихи, в которых специфичность и сложность блоковского поэтического восприятия может дать основания для обвинений в «индивидуализме». Однако при ближайшем рассмотрении эти обвинения оказываются несостоятельными. Вот пример.

У старшего поколения символистов крайний индивидуализм перерастал нередко в солипсизм, и Ф. Сологуб дал его законченную поэтическую формулировку:

В темном мире неживого бытия

Жизнь живая, солнце мира — только Я.

У раннего Блока в стихотворении «Все бытие и сущее согласно» мы встречаемся с тем же мотивом:

Мне все равно — вселенная во мне...

Прошедшее, грядущее — во мне.

И т. п. (I, 88)

Блок объясняет: «Под влиянием ее непрекращающейся суровости... я удаляюсь в страны холодные, немые, без любви и без весны и... оказываюсь непричастным к совершающемуся». В этом стихотворении, стало быть, «солипсизм» имеет специфический смысл: это самозащита от суровости любимой. «Отсутствие ответа заставляет надеть броню, что выражается в ощущении себя, как микрокосма». Однако даже «надев броню», продолжает Блок, он слышит «голос, который говорит, что я ухожу, но закат вещает... возврат к оставленной земле» (VII, 349).

Сказанное вовсе не означает, что у раннего Блока нет стихов индивидуалистического характера. В частности, уже отмеченное выше «язычество» поэта нередко приводит к мысли, что, кроме личного наслаждения, ничего в жизни и не нужно:

Опочий с вакханкой резвой...

Пусть луна бросает тени

На ее младую грудь,

Обними ее колени,

Жизнь холодную забудь!

(1898, I, 373)

Стоит ли вечно томиться...

Только б успеть насладиться.

Только бы страстью пылать!

(1899, I, 408)

И не только индивидуалистические стихи находим у раннего Блока. Известное влияние оказала на него и явно декадентская поэзия.

Трактовка раннего Блока как индивидуалиста основывалась на том, что из сложного комплекса его творчества выбирались стихи определенного звучания или в этом же духе, не вникая в их специфический смысл, истолковывались другие.

Односторонность такого толкования очевидна, ибо у Блока в это же время мы находим стихи и совсем другого, противоположного характера. Стихи, в которых ярко и отчетливо выражены постоянные думы о людях, об их страданиях, о господствующем в жизни зле. Поэт «без отдыха» ищет выхода из этой жизни, и каждый день —

Наутро встречаюсь с землею опять.

Чтобы зло проклинать, о добре тосковать.

(1899, I, 33)

И вот почему поэт страстно говорит о поисках земли, освобожденной от страданий и крови:

Не утоленная кровавыми струями,

Безмолвствует земля.

Иду вперед поспешными шагами,

Ищу от жертв свободные поля.

(1900, I, 55)

Недовольный своим «слабым, туманным, жизненно бесславным творчеством», Блок мечтает стать поэтом, несущим людям высокие мысли и заветы добра:

О, если б мог я силой гениальной

Прозреть века, приблизить их к добру!..

Блажен поэт, добром проникновенный,

Что миру дал незыблемый завет

И мощью вечной, мощью дерзновенной

Увел толпы в пылающий рассвет!

(1899, I, 421)

Старшие символисты создали cвой образ поэта. В частности, он воплощен молодым Брюсовым в заветах «Юному поэту» (1896) и в «Отрадах» (1900): «не живи настоящим», «никому не сочувствуй», «строфы поэзии — смысл бытия»... У раннего Блока иной образ поэта — образ художника, служащего «Идеалу», «Благу» человечества:

Сама судьба мне завещала

С благоговением святым

Светить в преддверьи Идеала

Туманным факелом моим.

И только вечер — до Благого

Стремлюсь моим земным умом,

И полный страха неземного

Горю Поэзии огнем.

(1899, I, 21)

Несколько позже (1905) Блок писал о Коневском и Миропольском, что они были поэтами, которые «из собственно декадентства стали переходить к символизму» (т. е. к теургии). И вот в чем Блок видит существеннейший «признак этого перехода»: это «возвращение от, казалось, безвозвратного ухода в глубь собственной души — к углубленному чувству связи со своей страной... Как будто впервые добыватель руды ощутил на своей лопате родную глину... заметил, в какой стране он работает» (V, 598).

Ранний Блок, несмотря на проявлявшиеся подчас индивидуалистические настроения, не уходил «безвозвратно в глубь собственной души». Он с самых первых своих стихов уже думал о человечестве, о людях, о том, как уничтожить зло на земле. И в этой связи становится естественным появление уже в ту пору образа Родины, «своей страны» («Гамаюн», 1899). Картину Васнецова юный поэт осмыслил, как голос Родины. Да, она замордована, ее уста «запеклись кровью», она еще не знает путей спасения! Но, прорываясь сквозь страшные муки — иго злых татар, голод, пожар, кровавые казни, — она клеймит «злодеев силу, гибель правых» и ее «прекрасный лик горит любовью» (1899, I, 19).

Так раннее творчество Блока осмысливается как первая «глава» единого лирического «романа». И это, оказывается, не «однолинейная» религиозная поэзия и также не демонстративный индивидуализм, не презрение и равнодушие к окружающей жизни.

Нет, здесь — весь позднейший, очень сложный, во многом мучительно противоречивый поэт, упорно ищущий пути к добру и свету, упорно вырывающийся из искусственно огражденного от жизни, воспитавшего его круга — к России, к людям. И разве злой, «шумный и кровавый», окружающий Блока, «неистинный» мир — не начальное проявление темы «Страшного мира»? Разве «Гамаюн» — не предвестие пожизненной его темы России, идущей сквозь величайшие испытания? Разве, наконец, вся его мучительная раздвоенность — не та же тема «детей страшных лет России», изуродованных религиозно-декадентской лжекультурой, но не мирящихся с этим и неизменно стремящихся к подлинно человеческой жизни, к жизни Родины?

Блок писал в 1908—1910 годах своим корреспондентам: «По происхождению и по крови я — гуманист... с молоком матери впитал в себя дух русского гуманизма... Я не отрицаю, что повинен в декадентстве, но кто теперь в нем не повинен?..» И еще: «Теме о России я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь... К ней я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни» (VIII, 274, 265). И очень характерно в этом свете, что уже в 1899 году молодой поэт писал:

Мне жаль людей, лишенных крова,

И сожаленье гонит прочь —

В объятья холода сырого!..

Бороться с мраком и дождем,

Страдальцев участь разделяя...

(I, 432)